

римлян привычный образ жизни, а местные аристократии – инкорпорироваться в правящую иерархию самого Рима. Следствием этого было отсутствие сколько-нибудь значительного сопротивления империи. Отдельные случаи восстаний в провинциях обычно были связаны с борьбой за власть внутри Римского государства, а не с попытками его низвергнуть.

Современные исследования, в которых широко используются эпиграфические и папирологические данные, а также просопографический метод позволяют увидеть в империи не просто жесткую систему диктаторского контроля, но живой организм, растущий, развивающийся и адаптирующийся. Именно в наше постимпериалистическое время можно было выявить и оценить по заслугам тот факт, что в Римской империи местные традиции выживали и развивались не вопреки общей (например, греческой в ее восточной половине) культуре, но в ней, благодаря ей и внутри нее.

Этим объясняется жизнеспособность империи, которая не распалась и не погибла в 476 г. н.э., а постепенно трансформировалась, сохраняя высокую степень преемственности по отношению к прошлому. Именно поэтому формула А. Момильяно – «падение империи без прохота» – как нельзя более подходит для описания того явления, которое иногда по инерции называется *падением* Римской империи. Она выдержала многочисленные персидские нашествия, инкорпорировала несколько волн готского переселения, перенесла немало гражданских войн и создала целый мир для христианства. Христианские империи Востока и Запада не были в точности тем, чем была Римская империя II в. н.э., но они выросли из нее естественным образом.

ЯЗЫК И ИМПЕРИЯ

В конце XX века мысль о том, что язык и даже орфография могут быть выражением национальной гордости и самосознания, кажется нам совершенно естественной. Мы можем вспомнить пример Кемалю Ататюрка, который повелел своим соотечественникам перейти с арабского алфавита на видоизмененный латинский и начал чистку турецкого языка от арабских и персидских заимствований – процесс, продолжающийся и по сей день. Если обратиться к истории XVII в., когда при Людовике XIV возникло, может быть, первое национальное государство, не покажется парадоксом тот факт, что отец «короля-солнце» основал Французскую Академию. Ее главной миссией было «дать твердые правила нашему языку» и «очистить его от неправильностей, которые он приобрел в устах простонародья, от жаргона юристов, от неправильных словоупотреблений невежественных придворных и злоупотреблений проповедников»¹.

Современные национальные государства, даже те, которые гораздо менее озабочены чистотой языка, чем Франция, часто стремились навязать господствующий язык не только своим подданным (в колониях) или союзникам, но в равной, если не в большей мере, инакоговорящим группам внутри собственных границ. В качестве примера можно привести отношение к кельтским языкам в имперской Британии или все еще продолжающиеся дебаты о роли английского языка в США. Поскольку язык имеет значительно большее значение в самоопределении группы, чем родственные связи или даже культура, он легко становится движущей силой сопротивления меньшинств ассимиляции, как в случае с басками в современной Испании. У меня, прожившего более 25 лет в Канаде, было более чем достаточно возможностей наблюдать объединяющее и разделяющее воздействие языка, который, быть может, является величайшей и единственной угрозой существованию Канады как единого государства.

Что касается Римской империи, которой главным образом и посвящена эта статья, то в ней едва ли мог возникнуть вопрос о языковом подавлении как о сознательно проводимой политике. Конечно, признаки определенных попыток содействовать распрост-

¹ Encyclopaedia Britannica. 11th ed. V.I. L., 1910. P. 100.

ранению римской культуры на западе империи налицо. Тацит говорит об Агриколе, что тот поощрял занятия риторикой в Британии, «и те, кому латинский язык совсем недавно внушал откровенную неприязнь, горячо взялись за изучение латинского красноречия» (Тас. Агр. 21. 2. Пер. А.С. Бобовича). Однако это скорее свидетельствует о попытке романизации сыновей местной элиты, а не о стремлении к подавлению языка большинства населения. Император Клавдий за незнание латинского языка лишил некоего грека из Ликии римского гражданства, «говоря, что не должен быть римлянином тот, кто не знает их языка» (Cass. Dio 60. 17.4–5), но и это тоже не подавление. Видимо, как в латиноязычной, так и в грекоязычных частях Римской империи шел процесс отмирания некоторых языков, таких, как этрусский и лидийский – оба, как предполагается, исчезли где-то в период ранней Империи². Однако в целом показатель выживаемости «неэлитных» языков, таких, как ликаонский, выглядит на удивление высоким, хотя, как и можно было ожидать, соответствующие свидетельства содержатся в меньшей степени в надписях, отражавших официальную культуру, а в большей степени – в рукописных текстах, по преимуществу христианских, которые лучше отражают жизнь деревень и низших классов городов³.

Проблема, имеющая тенденцию доминировать в дискуссии о языке в Римской империи, касается тем не менее не таких языков, как кельтский или мисийский, а греческого языка. Филологи-классики и историки-антиковеды долгое время были зачарованы вопросом о греках под властью Рима с их «geistiger Widerstand» («духовным сопротивлением»), с «греками и их прошлым». Это стало любимым занятием англоязычных ученых по обе стороны Атлантики с 1945 г., потому что, как нетрудно догадаться, установление американской гегемонии в Западной Европе после этой даты и закат Британской империи, казалось, ставили проблемы, аналогичные «Graecia capta». Саймон Суэйн недавно вновь исследовал эти проблемы в книге «Эллинизм и империя: язык, классицизм и власть в греческом мире в 50–250 гг. н.э.»⁴, которую я стану использовать как отправной пункт. Моя главная цель – выдвинуть предположение, что Суэйн и другие приверженцы подобных взглядов подразумевают модель, которую в действительности невозможно приложить к Римской империи; надеюсь, что альтернативная модель, предлагаемая мной, может быть применима и к другим древним империям, таким, например, как Хеттская и Ахеменидская.

В первой части книги, разбираясь в спорах о чистоте языка, бушевавших среди самих греков, Суэйн стремится доказать, что именно гнетущее присутствие Рима стало причиной или способствовало появлению греческой грамматики как науки в эпоху поздней Республики. Цитирую: «Причина, по которой традиционная языковая экзегеза выбрала именно этот момент для того, чтобы кристаллизироваться в формальную науку о языке, неясна. Но утверждение латинского языка как мирового там, где до того на эту роль мог претендовать один только греческий, не кажется невероятным в качестве одного из факторов, стоящих за новым явлением»⁵. Далее эта идея выражена более уверенно: «Рост значения латинского языка был... внешним фактором, который привел к появлению барьеров вокруг 'правильного' греческого языка»⁶.

Во второй части своей книги Суэйн обзревает ряд наиболее известных представителей греческой литературы в эпоху Римской империи – от Плутарха до Филострата Младшего. Согласно его постановке проблемы, он хочет «посмотреть с

² Для этрусского языка см. *Kaimio J. The Ousting of Etruscan by Latin in Etruria // Studies in the Romanisation of Etruria / Ed. P. Bruun et al. Rome, 1975. P. 89–245, особенно p. 228; о языковой ситуации в Малой Азии в период империи см. Mitchell S. Anatolia. Oxf., 1983. P. 170–176.*

³ *MacMullen R. Provincial Languages in the Roman Empire // AJPh. 1966. 87. P. 1–17; Millar F. Local Cultures in the Roman Empire // JRS. 1968. 58. P. 125–134; Mitchell. Op. cit. P. 170–176; Shaw B. Review: Millar F. The Roman Near East // CPh. 1995. 90. P. 289–293.*

⁴ *Swain S. Hellenism and Empire: Language, Classicism and Power in the Greek World. A.D. 50–250. Oxf., 1995.*

⁵ *Ibid. P. 40.*

⁶ *Ibid. P. 64.*

точки зрения греческой культуры, каковы были взгляды ведущих греческих интеллектуалов эпохи второй софистики на Рим и римское господство в Греции и в греческом мире»⁷. Результаты этого рассмотрения замечательно последовательны. Опять привожу собственные слова Суэйна: «В своих мыслях и по духу те, кого я детально изучил в моей книге, несомненно осознавали себя греками... тем не менее в то же самое время они, как и другие представители элиты, принимали римскую политическую идентичность. В политико-административном смысле это означало, что эти люди зачастую были римскими гражданами, либо (в том, что касается незначительного меньшинства) делали карьеру на службе Риму. В политико-идеологическом смысле это означало, что правление элиты было как в интересах Рима, так и в их собственных. Но такая приверженность «греческой идее» была также политической в идеологическом смысле... Даже те, кто были вовлечены в римскую администрацию, не ставили свою римскую идентичность выше греческой»⁸.

Давайте выделим главное: связь между языковым сознанием и политическим либо национальным самоопределением. Как я предположил в начале своей статьи, такая связь в эпоху современных национальных государств кажется нам естественной. Но было ли это столь же естественным для эпохи Римской империи? Дают ли тексты основание предполагать, что греческие лексикографы и грамматики или греческие интеллектуалы, озабоченные правильностью языка, ставили перед собой цель, сопоставимую с той, которая была у Французской Академии или у составителей «Итальянской энциклопедии»?

В одном отношении сходство и вправду довольно значительное. Как было сказано выше, в начале своей истории Французская Академия была призвана очистить язык «от неправильностей, которые он приобрел в устах простонародья» и т.п.; нынешняя задача Французской Академии, заключающаяся в защите французского языка от англицизмов, таких, как «компьютер», – это уже феномен совсем другой эпохи, отличной от эпохи Людовика XIII. Ведь в Римской империи если и ломали копья по поводу языка (о чем нам обычно приходится слышать), то не по поводу латинизмов, сколь бы многочисленными они ни были, но из-за отступлений от классической нормы, где бы эту классическую норму ни находили.

Филострат описывает случай с киликийским софистом Филагром, который во время вечерней прогулки по Керамику встретил одного из учеников Герода Аттика – в ту пору «царя риторики». Вспыхнула перепалка, в ходе которой из уст гостя в порыве гнева вырвалось неканоническое слово, ῥήμα ἔκφυλον. Ученик Герода, как нам сообщают, «вцепился в это словцо и спросил: "Какой из признанных авторов употреблял это слово"? Ответом было: "Филагр"». «Эта стычка, – продолжает Филострат, – не имела продолжения в тот день, однако на следующий (Филагр) написал письмо (Героду), нападая на эту знаменитость за то, что тот не обращает внимание на поведение своих учеников» (Philostr. Vitae soph. 578–579). Жаркие споры по поводу языка, с которыми мы часто сталкиваемся в сочинениях Лукиана и Фриниха, были прежде всего стычками внутри образованного класса – внутри того, что мы сейчас можем назвать интеллигенцией или мандарином. Эти споры представляют собой разновидность трудноуловимого и всепроникающего социального явления – обеснования своего достоинства высотой своего положения (one-upmanship), и мы не должны отворачиваться от них на том основании, что это всего лишь «споры внутри элиты», незначительные на фоне некоей более крупной, хотя и несформулированной политической программы.

Действительно, время от времени мы слышим о диспутах, затрагивающих проблему взаимовлияния латинского и греческого языков. Лукианов герой – киник Демонакт – поднимает на смех «очень необразованного и дурно говорящего человека», который радостно кричал: «Царь меня с римским гражданством пожаловал» (ὁ βασιλεὺς με τῆ

⁷ Ibid. P. 1.

⁸ Ibid. P. 70–71.

Ῥωμαίων πολιτεία τετίμηκεν) – предложение, порядок слов, в котором ясно говорит о влиянии латинского языка. На что Демонакт сказал: «Лучше бы он тебя не римлянином, а греком сделал» (Luc. Dem. 40. Пер. Н.П. Баранова)⁹. Кто-то может углядеть здесь скрытую критику римского господства, насмешку над ассимилированным греком, чье стремление к продвижению испортило его речь. Другое прочтение, впрочем, не менее возможно, и более соответствует тому, что мы слышим везде: это всего лишь еще один пример обоснования на словах своего достоинства высотой своего положения (one-citizenship), вполне в духе обращения мистера Подснепа с путешественником-французом в забавной сцене из диккенсовского «Нашего общего друга».

Для характеристики этого типа языкового взаимовлияния лучше всего обратиться к свидетельствам эпиграфических источников, которыми напрасно пренебрегают историки античной культуры. Пример можно привести из одной из столиц «второй софистики» – Смирны императорского периода¹⁰. Речь идет о прекрасно выполненном саркофаге с греческой надписью с сильным влиянием латыни, в особенности юридической. Так, ὅ καὶ τοῦτο τὸ μνημῆρον κληροῖόμω οὐκ ἀκολοθήσει передает не только обычную формулу hoc monumentum heredem non sequetur, но и отсутствие в латинском языке определенного артикля. Луи Робер предположил, что владелец этой гробницы был римлянином по происхождению, представителем низших слоев императорской администрации, по необходимости двуязычным. Похожие примеры влияния юридической латыни мы находим на надгробиях других людей подобного типа и прежде всего императорских вольноотпущенников и, вероятно, можем рассматривать этих чиновников как главных проводников романизации на грекоязычном Востоке. Но, конечно же, они не входили в интеллектуальную элиту, не были теми плутархами и дионами хрисостомами, из чьих сочинений состоит литература, в чтении которой традиционно упражняются так называемые классики. Я взял бы на себя смелость утверждать, что подобные литературные источники являются только частью свидетельств, которые необходимо рассматривать, если мы хотим решить проблему «эллинизма и империи». Сами будучи мандаринами, мы испытываем чрезмерную нежность к нашим античным визави. Нам нужно не поддаваться их очарованию, но постараться, какими бы неудовлетворительными и неоднозначными ни были соответствующие свидетельства, рассмотреть все, что поможет нам понять взаимоотношения между греческим и латынью, между Грецией и Римом в Римской империи.

Давайте тем не менее присмотримся поближе к этим профессорам философии и риторики, которым мы обязаны подавляющим большинством письменных источников; но одновременно давайте уточним, что, собственно говоря, мы стремимся обнаружить. Что значит сказать об этом социальной группе, что она демонстрирует «определенную дистанцию, сопротивление интеграции»? Или о таком авторе, как Элий Аристид, что «его подлинная лояльность, его мыслительная и духовная идентичность прочно принадлежат Греции»?¹¹ Эти авторы мыслили и писали по-гречески, они постоянно обращались к греческим образцам, они рассматривали эллинистический период в целом как период упадка греческой культуры; даже тем из них, у кого, как у Плутарха, имелись высокопоставленные друзья в Риме, была не по вкусу мысль о погоне греков за продвижением в Риме и о вмешательстве римлян в дела греческих городов. Арнальдо Момильяно однажды сказал, что существует «другой Иосиф в Иосифе – тот, который, возможно, предпочел бы умереть в Масаде»¹². Подобно этому мы можем сказать, что и в Плутархе есть Плутарх, который предпочел бы, чтобы греки не уничтожали друг друга в привычных междоусобицах и не навлекали на свою голову необходимость римского господства ради того, чтобы получить мир ценой свободы. Однако еще требуется доказать, что только этого Плутарха можно считать «настоя-

⁹ О нем. см. Jones C.P. // CPh. 1996. 91. P. 241–253.

¹⁰ О нижеследующем см. Robert L. Documents d'Asie Mineure (BEFAR 239 bis). P., 1987. P. 1–10.

¹¹ Swain. Op. cit. P. 89, 297.

¹² Momigliano A. // Opposition et Résistances à l'Empire d'Auguste à Trajan. (Entretiens Hardt. 33). Genève, 1987. P. 117 = Nono contributo alla Storia degli Studi Classici. Roma, 1992. P. 691.

щим», признавать «мыслительную и духовную идентичность» только за этой стороной его мировоззрения и отвергать ее для Плутарха, который написал «Сравнительные жизнеописания» от Тесея и Ромула до Деметрия и Антония.

К тому же я бы предложил, чтобы понять языковые и культурные различия между греками и римлянами в Римской империи, прежде всего обратиться к самой Римской империи. На Западе латинский был языком культурной элиты и, возможно, большинства населения, так же как греческий на Востоке, хотя, без сомнения, двуязычие было более характерным для Запада, чем для Востока. На севере, особенно на Балканах, картина более запутанная, и было бы нелегко определить четкие языковые границы между греческим и латынью; на юге, где связи между Востоком и Западом были затруднены, такой барьер, возможно, более различим: Киренаика была преимущественно грекоязычной, Проконсульская Африка – латиноязычной. По всей империи латинский был языком армии, подобно тому как английский сейчас служит рабочим языком для некоторых международных организаций, таких как НАТО; он был также, хотя и это и менее ярко выражено, языком римского права. На Западе латинский был языком администрации, как на Востоке греческий, несмотря на живучесть других языков, иным из которых, как сирийскому, было суждено блестящее будущее.

В пропорциях, удивительных для империй Нового времени (возможно, это не относится к Китаю), высшие звенья администрации, начиная с самого императора, рекрутировались, по крайней мере вплоть до III в. н.э., из высокообразованных слоев. Такой император, как Марк Аврелий, мог излагать свои философские раздумья по-гречески, но его императорские послания, даже обращенные к столь им любимым Афинам, показывают, что он диктовал их по-латыни, а затем его текст переводился образованными греками¹³. Подобным образом один из императоров III в. Гордиан III, почти наверняка грекоязычный по происхождению, облакал свой «крестовый поход» против сасанидской Персии в одежды классических Афин и Афины Промакос¹⁴. Эта управленческая элита частично совпадала с академической, но не была ей вполне тождественна. Что касается последней, то некоторые ее представители находились на императорской службе в качестве прокураторов или возглавляли ведомства, например, переписки на греческом языке. Другие получали жалование от императоров или от своих городов как преподаватели риторики, философии или медицины. В числе тех, кто оставил после себя опубликованные работы, были, с одной стороны, люди, глубоко вовлеченные в управление Римской империей, как, например, Арриан из Никомедии, а с другой – люди, почти никогда не упоминавшие о современной им действительности.

Примером последних может быть Элиан из Пренесте, который заслуживает краткого рассмотрения, поскольку те, кто увлечен поиском ностальгии или неудовлетворенности среди греческой интеллигенции, склонны уделять ему очень мало внимания. Филострат восхваляет его за то, что он «хотя был римлянином, владел аттическим языком так же хорошо, как те, которые живут в центре Аттики. Мне думается, человек этот заслуживает всяческой похвалы, во-первых, потому что добился чистоты языка, живя в городе, где на нем не говорили... Этот человек уверял, что не выезжал никуда за пределы Италии, ни разу не ступал на корабль и не знаком с морем. За это его еще больше превозносили в Риме как блюстителя древних нравов» (Philostr. Vitae soph. 2. 31; пер. С.В. Поляковой, с исправл.)¹⁵. Сохранившиеся сочинения Элиана подтверждают это суждение как стилистически, так и по существу – демонстрируя, что его автор, хотя и сдержанно, но твердо гордился своим римским гражданством. Поэтому после перечня греков, которым много помогали их советники, как Алкиной Одиссею, он пишет: «Чтобы сказать о тех, кто связан со мною не менее, чем греки (ведь римляне близки мне, поскольку родом я – римлянин), напомню, что великую

¹³ SEG 29. P. 27. Табл. II, сткк. 94–95; *Oliver J.H.* Greek Constitutions of Early Roman Emperors. Philadelphia, 1989. № 184.

¹⁴ *Robert L.* Opera minora selecta. 5. P. 657–658.

¹⁵ PIR² C 769; *Bowie E.L.* // Cambridge History of Classical Literature. I. Greek Literature. Cambr., 1985. P. 680–682; *idem* // ANRW. II. 33.1. В.–N.Y., 1989. P. 244–247.

пользу принес Лукуллу Антиох из Аскалона, Арий Меценату» и т.д. (Ael. Var. hist. 12. 25; пер. С.В. Поляковой; cf. 14. 45). Элиан более, чем большинство других греческих авторов, склонен упоминать римлян республиканской эпохи, а Август – последний император, которого он упоминает (хотя Филострат сообщает, что он составил поношение умершему Элагабалу). Элианово римское гражданство спокойно сосуществовало с тем, что мы при желании можем назвать «греческим образом мыслей», и было бы абсурдно отождествлять «настоящего» Элиана либо с тем, либо с другим по отдельности.

Таким образом, нам не следует рассматривать греков в Римской империи как «народ под иностранным господством»¹⁶ подобно фламандцам при Бурбонах или Франции во время второй мировой войны; Римская империя скорее была подобна Австро-Венгрии, в которой сосуществовали две господствующие элитарные культуры. Из них одна была более престижной именно потому, что была древнее и повлияла на формирование другой. Среди представителей образованных элит, как с той, так и с другой стороны, несомненно были и такие, которые невысоко ставили своих визави и их культуру. Однако совершенно несомненно, что, по крайней мере среди греков, были и те, которые, подобно Плутарху, хотя и с печалью вспоминали славные времена Греции, но их сожаление смягчалось реалистическим взглядом на то, что эти цветущие дни были омрачены гражданскими войнами и междоусобной враждой.

Если не брать уровень элиты, мы должны думать не только о греках и сирийцах, которые заполнили Рим и вызывали насмешки Ювенала и Тацита. Мы должны также думать и о мощных культурных потоках с Запада на Восток, особенно повлиявших на правящие классы греческих городов. Подобные потоки обретали видимую форму в процессе распространения римских обычаев, таких, как гладиаторские игры, римских архитектурных форм, таких, как амфитеатр и форум, предметов художественного ремесла, таких, как, например, саркофаг (в частности, я имею в виду тот его тип, в котором две фигуры, в натуральную величину и объемные, полулежат, опираясь на крышку, – тип, который ассоциируется у нас с Этрурией, но который встречается в погребениях представителей высших слоев на востоке империи во II и III вв. н.э.)¹⁷. В сфере языка аналогом подобных заимствований может быть медленное, но верное проникновение латинизмов в греческий язык в устной и письменной речи секретарей, авторов сочинений прикладного характера, даже тех, кто составлял тексты для надписей в таких культурных центрах, как Пергам и Эфес. И прежде всего мы должны стремиться отвести профессуре Римской империи ее надлежащее место, а не обольщаться тем, будто история языка и литературы – это и есть история Римской или любой другой империи*.

К. Джоунс

LANGUAGE AND EMPIRE

Chr. Jones

The Roman empire contained many language groups, and in general terms Latin dominated in the West, Greek in the East. The mutual interaction of these two languages, and of their speakers, has been much discussed; in English-language scholarship in particular, debate has centered on the Greek intellectuals of the Second Sophistic, both on those speakers designated by the Younger Philostratus and on others moving in the same cultural atmosphere such as Plutarch and Galen. The issues are now

¹⁶ Swain. Op. cit. P. 71.

¹⁷ Morey C.R. The Sarcophagus of Claudia Antonia Sabina // Sardis. 5. 1. 1924; Rudolf E. Der Sarkophag des Quintus Aemilius Aristides // DAWW. 1992. 230; общую картину см. Toynbee J.M.C. Death and Burial in the Roman World. Ithaca. N.Y., 1971. P. 272.

* Перевод С.Г. Карпюка.

presented in a book of Simon Swain, "Language and Empire" (Oxford, 1996). According to Swain, the growing predominance of Latin caused educated Greeks to systematize their language in order to prevent its contamination by Latin, and intellectuals such as Aelius Aristides, even when they appear to be well disposed to Rome, always had a Greek «cognitive identity». In the present essay, it is argued that this is to impose on the Roman empire anachronistic models drawn from the modern nation-state. The ancients had no conception of using the study of language to manipulate national feeling; there was no equivalent of the dictionaries created by modern national academies to purify usage; there is no sign of language as a vehicle of political resistance, or of the deliberate suppression of language by a dominant power. Intellectuals of antiquity who battled over usage were engaged in a struggle about classical norms and in process of self-valuation, not in a war against Latin. It is self-evident that Greeks such as Aristides had a Greek 'cognitive identity', if that means that they thought and spoke in Greek; by the same criterion, a resolute Italian such as Claudius Aelianus also had such an identity. Even linguistic and literary controversies among the intellectual elite represent only one level of the interaction of Latin and Greek; at a lower level, especially on the lower rungs of the imperial administration and in the Greek cities of the east, Latin influenced Greek in the same way that Roman customs such as gladiatorial games influenced civic life. To focus exclusively on the intelligentsia courts the danger of mistaking intellectual history for political and cultural history.